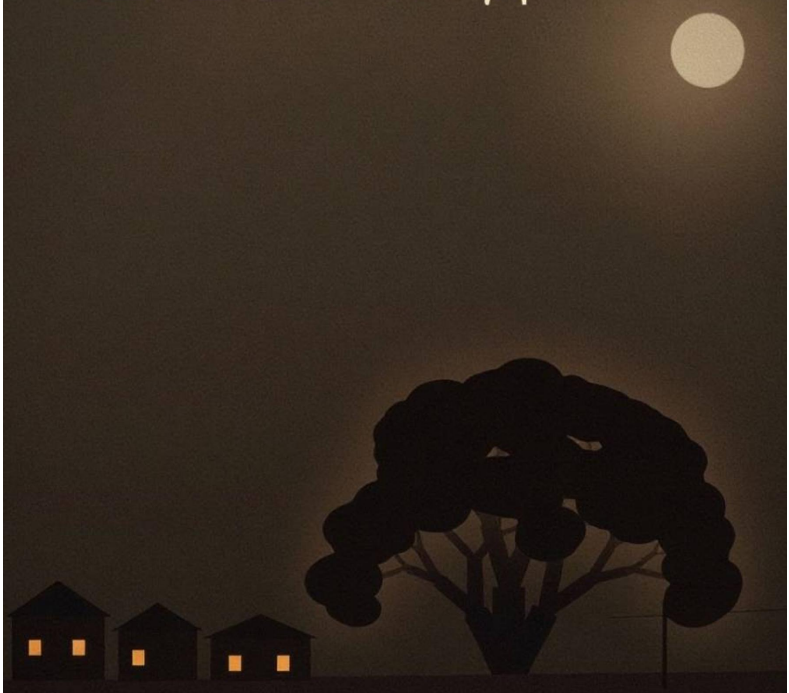
СЕРГЕЙ ЛОЗОВ

ЗЕЛЕНЫЕ СВИДЕТЕЛИ



ЛИПА ПО ВТОРНИКАМ

Тишина — это работа, которую ведут под звук пилы

Сергей Лозов
Липа по вторникам

https://litres.ru/74956594
SelfPub; 2026

Аннотация

В Столбово по вторникам работает пила. График благоустройства висит на сельсовете, всё утверждено, всё подписано — ровно, как циркулем. У подписи, по местным правилам, нет вопросов: план спускается сверху, снизу не принято спрашивать, почему липе девяносто лет, а пиле — вторник.

Настя следователь, и Настя слушает. Не свидетелей — траву, сирень и деревья. В этом районе трава знает о транспорте больше, чем ГИБДД, кусты хранят ведомости сорок лет, а двенадцатилетний Стёпа вслух повторяет то, что слышит от земли, — и не понимает, что это не его мысли. По документам Стёпа — пациент. По факту — канал. Система согласовала мальчику врача «по согласованию с эксплуатирующей организацией»: не лечить — так подписано.

Тёть Маша. В Сосново так зовут трубу, которой нет на балансе, — старую нитку, по которой каждый вторник, под звук пилы, уходит то, что не должно было существовать: восемь ходок с носилками, один ящик, вездеход. Пила — метроном. Тишина — работа.

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой Настя доросла до кустов, а график дорос до липы 5
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я пошла к липе с терпением, а терпение у меня записали в расход 13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой во вторник приехали двое, а я узнала, что бывают свидетели, которых нельзя допрашивать, но можно слушать 22
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой я нашла гараж, насос и арифметику, по которой единица всегда лишняя 32
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой я смотрела не на липу, а на людей, и в которой сапоги снова пошли в дело 43
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой пила была не главной, я выяснила, для чего её завели, и познакомилась со старой ниткой лично 53
Конец ознакомительного фрагмента. 57

Сергей Лозов
Липа по вторникам

СЕРГЕЙ ЛОЗОВ
ЗЕЛЁНЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Книга вторая
ЛИПА ПО ВТОРНИКАМ
сатирический детектив

ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой Настя доросла до кустов, а график дорос до липы

Весна в Столбово началась не с подснежников, как в книжках, а с графика благоустройства. Лист А4 в рамке на здании сельсовета: «План работ по озеленению и содержанию. Утверждено». Даты, фамилии, подпись. Я читала его дольше, чем читают приговоры, — потому что в графе «санитарная обрезка и валежник» стояла липа на Сосновской, а напротив даты — вторник. Каждый вторник.

Липу на Сосновской я знала. Ей было лет девяносто, у неё была крона в три обхвата и репутация: под ней мирились, мирились окончательно и ждали тех, кто не пришёл. Деревья в нашей округе делятся на говорливых и профессоров, и липа была профессором из профессоров — гул у неё стоял такой, что я слышала его за два шага, ровный, низкий, как отстоявшаяся вода. Я не понимала из него ни слова. Бабушка понимала — и не переводила.

— Профессоров не торопят, дочка, — сказала она, когда я спросила. — Ты по слогам читаешь, а у него лекция на год. Дорасти надо.

«Дорасти» было главным словом моей зимы. Я отработала стаж, открыла реестр заново и слушала улицу: траву, клумбу,

осоку. Улица болтала без умолку и по делу почти никогда. А по вторникам улица замолкала.

Вот это я и заметила первой — раньше, чем поняла. По вторникам, часа в три, обочина на выезде из Сосново притихала. Не спала — прислушивалась. Трава, которая в любой другой день могла рассказать мне про трактор, про юриста и про свою будущую славу, во вторник в три лежала пластом и слушала в сторону липы.

— Трава, что там?

— Не скажу, — сказала трава. Впервые за полгода «не скажу» прозвучало не хулигански, а страшно. — Я слушаю.

— Что ты слушаешь?

— Как пилу ведут. Она идёт по дереву ровно, дочка, у неё ставка почасовая. Я звёзд не вижу, а ставку слыхала.

Зафиксировала: во вторники у липы работала пила. По графику. Значит, график знал, во вторник ли надо пилить липу, а вопрос «зачем пилить живую липу девяноста лет» график не содержал. График вообще не содержал вопросов — это я в своё время поняла на складе: у документа, который не допускает вопросов, автор всегда один и тот же, и он не подписывается.

Кусты пошли ко мне в апреле. Началось с сирени Ирины — той самой, что у забора, под которой в прошлом году я слышала ровный голос, а сирень молчала, и молчание переводила бабушка. Я шла мимо — и вдруг услыхала из сирени голос. Тонкий, вежливый, с подтекстом, как у человека, ко-

торый долго подбирал слова и всё равно недоволен собой:

— Она опять мимо. Идёт мимо, а ведь я ей тогда всё подсказала. Молчанием. Хорошее молчание — это то же показание, только вежливей.

Я остановилась. Сирень замолкла — растерялась, как свидетель, которого вызвали раньше времени. Я подошла вплотную, положила ладонь на ветку — бабушкин жест, я у неё его спёрла честно, — и сказала вслух, никому:

— Здравствуй. Я слушаю.

— Наконец-то, — сказала сирень. — Лидия, ты слышала? Доросла. Внучка доросла. Три года по колее, столичная, три года! Я тебя держала в реестре как «молчаливого источника», а ты, оказывается, просто глухая была.

— Два года, — сказала я. — И я не глухая. У меня было младшее звено.

— Трава — это не звено, это очередь в амбулаторию, — сирень перевела дух и перешла на деловой тон. — Ладно. Поздравляю с повышением. У меня к тебе дело. У меня во втором кусте с прошлого года лежит то, что мне передали по корням, и передали не мне, а мимо меня — и это всех нас волнует, потому что через кусты передают только то, что не хотят, чтобы услышали деревья. Деревьям с высоты видно всё, и они умеют молчать в голос. А я, куст, болтливая. На меня и рассчитывают.

— Что тебе передали?

— А это, милая, не ко мне. Это ты у ребёнка спроси. У

мальчика, что в свитере с локтем наизнанку. Он по вторникам у липы сидит и говорит то, чего не говорил.

Так я вышла на Стёпу.

Стёпа, двенадцать лет, внук Зотова — моего подписанта со склада, который двадцать лет ставил ровную подпись по статье «благоустройство» и ушёл в декабре на пенсию с ощущением, что подписал всю жизнь. Зотов-старший после выхода на пенсию сделался тихим и слушал радио очень громко — чтобы не слышать, как слушает его дом. А Стёпа был наружу.

Первого Стёпу я увидела у липы. Во вторник, в три. Он сидел на корнях, свитер был действительно наизнанку — шов наружу, как флаг переговоров, — и говорил. Говорил в пустоту, ровно, без запинки, голосом, у которого не было хозяина:

— …уклон беречь, вода пойдёт в обход, если по старой нитке. Старую нитку не трогать. Трогать — значит уравнять…

Я стояла и не дышала. Мальчик говорил словами, которых в его лексиконе быть не могло: «нитка», «уклон», «уравнять» — так говорят на планёрке в управляющей организации, в конторе, где сидят люди с ровным почерком. Он не читал. Он повторял. Как трава повторяла чужие разговоры, только у травы был гонорар, а у Стёпы не было даже понимания, что он сдал кого-то.

— Стёпа, — сказала я, когда он умолк. — Кто тебе сказал

про нитку?

Он посмотрел на меня спокойно, как смотрят на взрослого, который задаёт очевидное:

— Никто. Я сам знаю. Всегда знал.

— А где ты «всегда знаешь»? Дома?

— Везде, — сказал он с лёгким удивлением, что это надо объяснять. — Летом у деда в саду, зимой у крыжовника Кеши. А по вторникам — здесь. Тут слышнее всего. Липа подо мной думает, я под липой говорю. Мы с ней в этом деле напарники.

— В каком деле?

— Не знаю, — сказал Стёпа честно. — Меня в него не посвящают. Мне дают только то, что неровно пахнет.

«То, что неровно пахнет». Я записала бы это в реестр как детскую выдумку, если бы мой реестр не начинался с клумбы, которая кричит про сапоги. Я спросила ещё раз, мягко, без следственного нажима — с детьми надо без нажима, они сдают нажим быстрее, чем показания:

— Что такое «старая нитка»?

— Не знаю, — повторил он. — Но её нельзя трогать. Это все знают. Ветки знают, корни знают, я знаю. А взрослые знают и трогают. Поэтому они взрослые.

Бабушке я рассказала вечером, за щами. Она выслушала, не поднимая глаз от кастрюли, и это было дурным знаком: когда бабушка слушает не глядя, значит, она уже знает ответ и решает, в каком порядке сообщать.

— Дочка. Про Стёпу слушай внимательно. Есть люди, через которых земля говорит, — не с ними, а через них. У них уши сквозные: что услышали, то и произнесли, и не заметили. Таких в деревне вечно считают дураками или поэтами. А они ни то и ни другое — они гарнитура. Провод. К ним надо идти не с вопросами, а с благодарностью: провод не виноват, что по нему звонят.

— Баб, а кто по нему звонит?

— А вот это, — сказала бабушка и наконец подняла глаза, — ты узнаешь не у меня и не у Стёпы. Это ты узнаешь у липы. Когда дорастёшь. И боюсь, дочка, ты доросла быстрее, чем я планировала: сирень тебя пустила, значит, кусты тебя признали. Осталось, чтобы и профессор признал. А липа, наверное, решает, сначала ли тебя наказать за то, что ты во вторники стояла под ней с блокнотом.

— Я не стояла.

— А пила во вторник по липе идёт с твоим графиком в кармане. Значит, липа думает, что ты с пилой заодно. У деревьев, дочка, нет УПК: не доказал — значит, виноват.

Улика: Стёпа по вторникам произносит чужие слова — про «нитку», «уклон» и «уравнять». Что это даёт: в Сосново существует разговор, который проводят мимо деревьев и через кусты, а земля выдаёт его мальчику вслух. Важность: тот, кто говорит про «старую нитку», не хочет, чтобы его услышали сверху, — и значит, разговор этот о том, что должно остаться под землёй. Проверка: что такое «нитка» — в до-

кументах, в трубах, в памяти липы. Вывод: Стёпа — не свидетель. Стёпа — канал. Ищет не он, по нему идут. Действие: во вторник к липе — не с блокнотом, а с терпением. И выяснить, с какого вторника пилу пускают по живому дереву — и по чьему графику.

В среду утром я позвонила в сельсовет и спросила у тёти Глаши — кассирши, человека, который подписывает ведомости не читая, но с достоинством:

— Глаша, а по графику благоустройства — липа на Сосновской. Кто даты ставит?

— А это, Настенька, не ко мне, — сказала Глаша и подписала ведомость, которую держала в руке, не глядя. — Дата ставится в области. Мы внизу только исполняем. У нас, знаете, как: план сверху спускается, а снизу не принято спрашивать, почему липа в плане, а пила во вторник. Спросишь — и уже не в нижних.

— А кто план спускает?

— Подпись стоит, — сказала Глаша. — Ровная. «По поручению». Мы такую подпись уважаем: по ней и не спросишь, и не откажешься.

Я повесила трубку и посмотрела в окно. На Сосновской, за дорогой, стояла липа — и её девяностолетняя крона была в эти секунды самым громким молчанием в районе.

Гул доходил даже сюда. Низкий, ровный, терпеливый.

И я впервые в жизни подумала, что терпение дерева — это не доброта. Это копилка. Оно всё складывает, всё помнит и

собирается отдать разом.

Осталось узнать, когда истечёт срок.

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я пошла к липе с терпением, а терпение у меня записали в расход

Во вторник я не взяла блокнот. Блокнот — это запрос, а липа манеров не одобряла, бабушкина школа у меня уже была: сначала постоять, потом сказать что-нибудь о погоде, потом уже о деле. Я стояла под липой с тринадцать минут. Дышала. Считала ворон. Проговаривала в уме регламент выезда — привычка, от которой я не избавилась даже здесь, в первой в моей жизни командировке «на слушание».

На четырнадцатой минуте гул изменился.

Пока гул был ровный, я понимала его так же, как понимаю ромашки за окном автобуса: слышу — и ничего. Но на четырнадцатой минуте в ровном гуле прошла борозда — как когда едешь по новой асфальтовой дороге и под колёсами вдруг оказывается старый шов. Я замерла.

— …неделя четвёртая, — сказало дерево.

Слова не было. Была борозда, и моя голова её выпрямила в слова — так, видимо, и работает перевод, когда дорасти успел: не дерево говорит по-человечески, а человек по слогам разбирает деревянное. Я не понимала, чьи это слова — липы или того, что липа запомнила. Профессор, по бабушкиной классификации, не врёт и не спешит к пользе; он

также, видимо, не различает, где кончается он и начинается то, что под ним происходило сорок лет подряд.

— …неделя четвёртая. Приехали двое. Сказали: по графику. Спросил: почему вторник. Смеялись. Второй сказал: вторник — потому что проверка по средам, а проверка по средам — потому что среда у нас проверочная. У нас всё проверочное, кроме вторника. Во вторник у нас работают.

Я стояла и слушала своё первое дерево. Два года службы слушания — и я услышала ровно две минуты лекции. Дальше борозда выровнялась, гул закрылся, и липа снова стала просто очень старым деревом, которое почему-то сделало мне устный пропуск в переднюю.

Зато каких две минуты.

«Смеялись». Зафиксируем: над вопросом «почему вторник» смеялись. Люди, которые приезжают пилить девяностолетнюю липу по графику, смеются над тем, кто спрашивает «почему». Смех — это форма подписи. Он ставится там же, где «по поручению», — там, где не предполагается вопроса.

Бабушка, когда я вернулась, смотрела на меня из-за щей — щей теперь было две кастрюли, я ела больше прежнего, а Марго, как выяснилось, уже собиралась в гости:

— Ну?

— Она заговорила. Две минуты. Про «неделю четвёртую» и про смех.

Бабушка сняла крышку, понюхала, посолила — жест, ко-

торым у нас в семье покупали время на обдумывание.

— Дочка. Скажи мне честно: она тебя пустила или ты её проскочила?

— В чём разница?

— Пустить — это когда профессор решил, что ты готова, и открыл тебе переднюю. Проскочить — это когда ты случайно оказалась на волне, которую он давал другому адресату. Я вот, к примеру, слышу липу с восьмидесятого года. И знаете, что она мне сказала за сорок с лишним лет целиком? Три фразы. Профессор — это не радио, это архив с выдачей по предъявлению. Тебе выдали две минуты — спрашивай себя, по какому предъявлению.

— По вторнику, наверное.

— По вторнику, — согласилась бабушка. — И вот тут, дочка, начинается счёт, который я тебе обещала пересчитать. Сядь. У меня в запасе сорок девять мыслей, и две из них я сегодня израсходовала на липу. Это дорогое удовольствие. Слушай расклад.

Она села напротив, положила руки на стол — жест, которым в нашей семье открывали прейскурант.

— Слушание профессора стоит дороже всего остального вместе взятого. Не в гонорарах — в внимании. Я, когда слушаю траву, могу одновременно следить за щами, за курицами и за тем, чтобы ты не пила третий чай. Когда я слушаю сирень — я уже наполовину выключена из кухни, и у меня в это время убегает молоко. А когда я слушаю липу — я вы-

ключена полностью. Всё. Сорок минут не существую. Ни для щей, ни для тебя, ни для соседки, у которой сосед. Дерево берёт всё внимание разом, потому что его лекция идёт в обход слов — напрямую. И если в этот момент дома случится что-то важное — я это пропущу.

— Баб, а почему ты не слушала липу все сорок лет? Ты же могла.

— Могла. И делала это, — бабушка посмотрела в окно, в сторону Сосновской, где стояла своя липа, девяностолетняя, с репутацией и графиком на спиливание. — Два раза в жизни. В восьмидесятом, когда похоронила деда, и в девяносто третьем, когда у нас из посёлка увезли мою учительницу, а я месяц не могла понять, почему сороки врут. Оба раза липа отвечала. Первый раз — что время лечит, а второй — что не всё время лечит, есть время, которое засчитывает. Я после второго долго не подходила.

— А теперь подходишь?

— Теперь, — сказала бабушка ровно, — подходить буду ты. Я своё отслужила, у меня пенсия по слуху. Но у меня к тебе условие, дочка, и оно последнее в моём прейскуранте: когда пойдёшь к липе с делом — пиши потом, что услышала, мне на бумагу. Не потому что я не услышу сама — я услышу от тебя. А потому что у липы память сорок лет, а у меня, на минуточку, семьдесят девять. Мне её лекции надо иметь в письменном виде, чтобы не переврать при пересказе. Переврать чужую лекцию — это, дочка, единственный способ

обидеть профессора, и я не хочу быть в долгу перед деревом, которое переживёт нас обеих.

Тут и Марго приехала — автобусом, с чемоданом, в котором были один костюм, две книги и коньяк «по рецепту». Рецепт она выписала себе сама, а теперь выписывала и нам:

— Настя. Я должна сообщить тебе профессионально важное.

— Сначала щи.

— Я знаю порядок, — Марго поела щей, оценила и сказала бабушке: — Лидия Петровна, у вас в щах на один корнеплод больше, чем в прошлом году. Это правильно. Корнеплод — это структурообразующий элемент, я в этом убеждалась всю зиму на пациентах.

— Марго, — сказала я, когда тарелки опустели. — У меня во дворе кусты заговорили. Кустарники. Среднее звено. Сирень сама меня позвала.

— Я знаю, — сказала Марго спокойно и достала коньяк. — Я приехала не за этим. Я приехала, потому что у меня в поликлинике с осени ведётся пациент двенадцати лет. Снят с учёта через месяц после того, как я его завела, — по представлению сверху, «диагноз не подтверждён наблюдением». Я наблюдать успела. Он вслух говорил то, чего не говорил. Про трубы, дочка. Про уклоны и про старую нитку.

Я посмотрела на бабушку. Бабушка смотрела в стол.

— Стёпа, — сказала я.

— У него фамилия Зотов, — сказала Марго. — Если ты

про мальчика из Сосново, который по вторникам сидит у липы, — то да. И вот что я тебе скажу как врач, а не как подруга: то, что с ним происходит, не болезнь. Я проверяла всеми своими методиками — он здоровее половины моего отдела. У него уши сквозные. Но есть вторая сторона, и вот она мне не нравится: тот, кто говорит через него, не знает, что рядом стоит ребёнок. Не знает и не проверяет. Это, Настя, уже не про мальчика. Это про говорящего. Человек, который обсуждает неучтённые трубы на частоте, слышной кустам и внукам, либо очень уверен, либо очень привык, что его никто не слушает. Первое — диагноз. Второе — симптом системы.

— Ты коньяк-то наливай, — сказала бабушка. — А то у тебя симптом системы кончается фразой, а у меня после таких фраз щи дольше обычного доходят.

Марго налила. Три стопки — бабушке, мне и себе, хотя врач ей было «не по рецепту». Рецепт она составила на месте, вписав туда нас обеих задним числом.

— Теперь слушайте мою главную новость, — сказала Марго. — Я по пути заехала в Сосново. Мимо котельной. У котельной сидит крыжовник.

— Кеша, — сказала я.

— Кеша, — согласилась Марго. — И я с ним поговорила. Дочь моя, ты не понимаешь, что случилось: я, практикующий психиатр с шестнадцатилетним стажем, двадцать минут разговаривала с крыжовником о тле. Он жаловался. Подроб-

но. С именами тлей. Я в конце спросила — откуда я вообще знаю, что он говорит, я же не дароносица, — а он мне ответил: «А вы, доктор, долгие годы слушали людей, которые тоже ничего не хотели говорить. Это та же подготовка, только наоборот». И знаете, что я поняла? — Марго подняла палец. — Я поняла, что шестнадцать лет слушала именно их, потому что настоящие показания мне не давал никто: пациент, у которого всё в порядке, не приходит. Приходит тот, у кого порядок бумажный. Это одно и то же, только в кустах честнее: тля не подписывает, что у неё всё хорошо.

Бабушка выслушала этот монолог, подумала и вынесла решение:

— Запишу в свой реестр. «Маргарита Кирилловна допущена к среднему звену по совокупности стажа слушания. Коньяк — по рецепту, рецепт — с обратной силой».

— А я что-нибудь слышу? — спросила Марго с надеждой, с какой медсёстры спрашивают про допуски.

— Ты уже услышала, — сказала бабушка. — Иначе бы к нам не ехала. Просто ты это пока называешь профессиональной интуицией. Допуск оформится сам, как у Насти оформился: никто не подписывает, а подпись появляется.

Улика: две минуты липы — «приехали двое, сказали „по графику“, смеялись над вопросом „почему вторник“» — и Марго: её пациент Стёпа снят с учёта по представлению сверху. Что это даёт: во-первых, у пилы во вторник есть заказчик с расписанием и привычкой смеяться; во-вторых,

кто-то сверху знает про Стёпу ровно столько, чтобы убрать его из поля зрения медицины, и не знает столько, чтобы не говорить при нём про трубы. Важность: того, кто снимает с учёта двенадцатилетнего, интересует не диагноз — интересует, чтобы мальчика не слушал врач. Значит, по каналу уже кто-то ходит, и ему не нужны свидетели, даже слушающие. Проверка: кто снял Стёпу с учёта — по бумаге представления, у представления есть подпись. Вывод: система уже нащупала канал и начала его обслуживать — не глушить, а охранять от посторонних ушей. Действие: во вторник — на Сосновскую, до трёх часов, посмотреть, кто приехал на четвёртую неделю. И найти бумагу о снятии с учёта — она где-то лежит с ровной подписью.

Мы с Марго вышли на крыльцо, когда стемнело. Коньяк, естественно, был выпит, рецепт — закрыт задним числом, а над дорогой на Сосновскую стояла тишина, из которой уже можно было разобрать, что во вторник — завтра.

— Настя, — сказала Марго тихо, глядя в темноту. — Я врач. Я всю жизнь работаю с тем, что люди прячут от самих себя. И вот что я тебе скажу про твою деревню: у вас здесь прячут не от самих себя. У вас здесь прячут от земли. И это, между нами, хуже — земля всё равно слышит, а люди-то ещё и на земле стоят.

Назавтра, во вторник, я встала в шесть, выпила чай и пошла на Сосновскую пешком, не с блокнотом — с терпением. Терпение я брала у бабушки, в виде напутствия:

— Иди, дочка. Только запомни: у липы спросишь не «кто тебя пилит». Ты у неё спросишь: «что ты копишь». Первое — это про сегодняшних дураков, ответ на него сорвётся и с куста. А второе — про сорок лет. И если она ответит на второе — пеняй на себя: с профессорами надо осторожнее, они в ответ на прямой вопрос отдают весь архив. Весь. Разом. С восьмидесятого года.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой во вторник приехали двое, а я узнала, что бывают свидетели, которых нельзя допрашивать, но можно слушать

Во вторник я пришла на Сосновскую к половине третьего. Стёпа уже сидел на корнях — свитер в этот раз был не наизнанку, а задом наперёд, что, видимо, тоже входило в систему знаков, которая у него, несомненно, существовала, хотя он о ней не знал.

— Стёпа, — сказала я. — Мне надо постоять. Я не мешаю?

— Мешаешь, — сказал он честно. — Но ненадолго. Липа к тебе уже привыкла, а я ещё нет. Сядь на тот корень, он её любимый, там под корой пчёлы зимуют, она тебя запомнит по пчёлам.

Я села на корень с пчёлами. С пчёлами, слава богу, уже договорились с осени: они помнили, что я не ходила под липу с блокнотом, и держали это за вежливость.

Без четверти три обочина на выезде притихла. Не смолкла — именно притихла, как зал перед антрактом: всё на месте, всё дышит, но разговаривать уже нельзя. Трава по ту сторону

дороги лежала пластом. Я подошла и встала на колени.

— Трава, что происходит?

— Не разговаривают во вторник, — прошептала трава. — Во вторник слушают. Ты тоже слушай, а то попадёшь в протокол как нарушитель тишины. У нас тут по вторникам свой режим. С три часа до конца пилы.

— До конца пилы?

— До конца пилы, — подтвердила трава и замолчала. Трава, которая замолчала сама, а не от того, что я ушла, — это я видела впервые.

В три ноль две на выезде из Сосново показалась белая машина. Не та белая машина — я проверила приметы сразу, у меня с белыми машинами в этом районе теперь особые отношения, — другая: бортовой «КамАЗ» с тентом, старый, обшарпанный, с логотипом, которого у него, я была уверена, никогда не было: «Сосновское лесничество». Логотип был свежий, наклейка ещё не успела выгореть. Лесничество наклеили на борт в этом году, как собственность наклеивают на чужое.

Из машины вышли двое. Первый — в спецовке, с пилой в чехле, кепка набекрень. Второй — в кожаной куртке, с портфелем, в ботинках, которые в лесу не носят. Ботинки смотрели на спецовку с выражением, с каким смотрят на родственника, с которым давно бы развелись, да руки не дошли.

— По графику, — сказал первый. Голос был привычный, рабочий.

— По графику, — подтвердил второй и открыл портфель. — Листок подпишешь. Работы по санитарной обрезке. Дерево болеет, традиционная формулировка. Не сличай с моей, у меня всё сходится.

— А чего сходить-то, если сходится?

— Потому и сходится, что сличать нечего, — сказал второй. — Грамота твоя — на тридцать минут работы. Потом подпись. Потом уезжаем. Среда — проверка, ты знаешь порядок.

— А проверяющий кто?

— Проверяющий, Веня, — это я, когда подпишешь, — сказал второй без улыбки. — У нас проверка всегда одна: сходится или нет. Остальное — это уже не проверка, это память. Память у нас в ведомости не предусмотрена.

— Листок давай, — вздохнул Веня и пошёл к липе.

И тут заговорил Стёпа.

Он сидел на корнях, лицо у него было ровное, как у человека, который слушает радио, — и он говорил. Голосом не своим. Слова — не его:

— …четвёртый вторник подряд. Полный объём по текущему заказу. Дерево выдаёт норматив за два подхода. Оплата — за межевание, безналом, через подотчётную. Пилу — в тот же гараж, что в прошлый раз. Оттуда — на объезд по ветке двенадцать-четыре, вноситься в консервацию не ставить, там работать…

Я не шевелилась. Я слушала. Внутри у меня тем време-

нем шёл следственный процесс, который я потом назвала «двойной протокол»: одна половина меня записывала слова, вторая — считала, сколько в этих словах вещей, о которых двенадцатилетний мальчик знать не может. «Межевание», «подотчётная», «консервация», «ветка двенадцать-четыре» — это не детская речь. Это речь планёрки.

— Веня, — окликнул второй, тот, что с портфелем. — Ты чего застыл?

Веня стоял у липы с пилой в руках и не пилил. Он смотрел на Стёпу. И на его лице происходило то, что я потом описала в реестре словами «человек узнал голос».

— Он что… — сказал Веня тихо. — Ты слышишь, Петрович? Он что, повторяет?

— Пили давай, — сказал Петрович, не поворачиваясь.

— Да погоди! Он же по вторникам тут сидит, да? Он же этот… из Столбова, внук отставного? Он же всегда сидит!

— Сидит и сидит, — сказал Петрович. — Деревенские дети сидят. Пила, Веня.

— А я его раньше не слушал, — Веня не двигался. — А теперь слушаю. Петрович, он же там наше говорит. Наше. Как будто в комнате у нас стоял. Он про ветку говорит. Он про гараж говорит.

— А ты не слушай, — сказал Петрович. — Тебе что, десять лет? Ты взрослый мужик. У взрослого мужика ушей нет, есть сплошной бюллетень. Работай.

Веня поднял пилу. Опустил. Посмотрел ещё раз на Стёпу

— и стал пилить.

Я запомнила этот момент навсегда: пила вошла в кору, липа дрогнула всем кронным воздухом, гул её на секунду стал выше — как у человека, который резко вздохнул, — и тут же выровнялся. Профессор не кричал. Профессор записал.

А Стёпа продолжал:

— …норматив по обрезке — зачёт. Оплоченность территории — не требуется, у нас порядок. После — акт с одиночной подписью, лишние не нужны, у нас порядок, у нас всё сходится…

Петрович наконец обернулся. Посмотрел на Стёпу — уже не как на мальчика, а как на помеху в графике. И сказал Вене — тихо, но я услышала, у меня по вторникам слух работал на полную:

— Вениамин. Ты на следующей неделе с ним будешь разговаривать. Не с деревом — с ним. Подойдёшь, спросишь, как дела. Поговоришь про рыбалку. Пять минут, человеческим голосом. Проверишь — может ли он, сучок, связно говорить.

— А зачем?

— А затем, что ты сам сказал: он повторяет. Если мальчик глухой — пусть глухой. А если мальчик попугай, то надо знать, попугай с бумагой или попугай без. С бумагой — это уже не вторник, это уже смена графика.

Я записала это потом в реестр и при записи почувствовала холод: они не знали, что мальчик — канал. Они дога-

дывались. И их реакция была не «уйти с дерева», а «проверить мальчика». Система не пряталась от слушателя. Система шла к слушателю на проверку.

— Что тебе слышно, Стёпа? — спросила я, когда машина уехала, а Веня — я подсмотрела — оставил под липой листок с пустой графой «отметка о контроле», которую подписал заранее, не проводя контроля.

— Не знаю, — сказал Стёпа с обычной честностью. — Это не мне говорят. Это через меня говорят. Я как труба. В трубе вода всякая бежит, а труба, какая вода, — не спрашивает.

— Стёпа, а тебе не страшно?

Он подумал — по-настоящему подумал, это я видела по глазам:

— Нет. А должен?

— Ну… те, кто через тебя говорит, — люди серьёзные.

— Они не страшные, — сказал Стёпа с убеждением, с каким дети говорят то, что им сказали один раз, а запомнили навсегда. — Они скучные. Я их слышу каждый вторник, они всегда одно и то же: график, норматив, сходится, порядок. Дед тоже так говорит, только дед про радио, а они про трубы. Скучные люди не страшные.

Я открыла реестр и под строкой о нём, о Стёпе, написала: «Свидетель не понимает содержания. Свидетель не боится. Свидетель скучает». И подумала, что это самое страшное в этом деле: система говорит вслух при ребёнке, потому что уверена, что ребёнок — это мебель. И мебель эта встала.

Бабушке я вечером пересказала всё, включая Веню с его «проверить мальчика». Бабушка слушала, не поднимая глаз от кастрюли, а потом сказала то, от чего у меня, следственного человека с восемью годами стажа, похолодело в животе:

— Дочка. Ты в этом деле сейчас на самой опасной точке из всех, где ты была на складе и в шахте. Там за тобой были люди, которые прятали дно. А здесь, дочка, за тобой идут люди, которые прячут себя. От людей, которые прячут дно, можно спрятаться в документах. От людей, которые прячут себя, — только в громкой работе: чтобы у тебя всё было по протоколу, по графику и по учебнику, и чтобы каждое твоё «я это знаю» было забито бумагой, которую ты можешь положить на стол. Потому что у этих, у «скучных», дочка, правило простое: что не сходится — то подозрительно. А подозрительного не убивают. Подозрительного сначала проверяют. Ты, по их понятиям, — та, кто не сходится: в отпуске, а работает; работает, а по УПК не сходится; говорит о соснах с мальчиком — а в реестре это что? Поэтому, дочка, слушай меня внимательно: реестр веди как следствие. Даты. Время. Кто, где, что. Всё, что ты услышала, — записывай с датой. С датой, дочка. С датой и временем. Дерево тебя защитит от колёс, я тебя — от тоски, а вот от «скучных» тебя может защитить только датированный протокол.

Улика: разговор у липы — «ветка двенадцать-четыре», «консервация», «межевание», «подотчётная», «акт с одиночной подписью» и «гараж, что в прошлый раз». Что это

даёт: в Сосново работают не по дереву, а по трубам — и работают с графиком, с подотчётностью и с гаражом, к которому уже ездили. Важность: они не знают, что Стёпа — канал, они его проверяют. Система вошла в фазу, где она не скрывает канал, а обслуживает его — и проверяет его на предмет, слушает ли кто. Проверка: найти гараж «тот, что в прошлый раз» и ветку двенадцать-четыре. Ветку — по бумагам ЖКХ, гараж — по колее. Вывод: Стёпу нельзя допрашивать. Стёпу можно только слушать — и защищать датированным протоколом. Действие: во-первых, реестр — с датами и временем, как следственный протокол. Во-вторых, узнать, что за ветка двенадцать-четыре и что за гараж, откуда выезжает пила в тот же день. В-третьих, и это самое важное: к следующему вторнику — схема охраны Стёпы, потому что они придут проверять мальчика, а я должна быть на месте, когда придут.

Назавтра я пошла в сельсовет — не к Глаше, к Глаше уже не с чем, а к вывеске на здании. На вывеске, между «паспортный стол» и «ветеринар», висела третья: «МУП „Сосновские коммунальные системы“. Приёмная». И под вывеской — звонок.

Я позвонила. Дверь открыла женщина с лицом, которое обычно бывает у бухгалтерии: доброе ровно настолько, чтобы не пугать клиентов, и закрытое ровно настолько, чтобы не подписывать лишнего.

— Мне бы Лебедя. Директора.

— Аркадия Семёновича нет на месте. Он на объезде. Что

передать?

— Передайте, что его рейс сегодня по ветке двенадцать-четыре, — сказала я. — И что контроль этого рейса у меня.

Женщина побледнела на одно поколение — ровно на столько, на сколько бледнеет бухгалтерия, услышав цифру из закрытого реестра, — и ответила ровно:

— Ветки двенадцать-четыре у нас нет. Есть улица Дружбы, там двенадцать домов, из них четыре частных. Это всё, что я могу сказать.

— Это уже много, — сказала я. — Вы только что назвали мне адрес закрытой ветки: улица Дружбы, двенадцать домов, четыре частных.

— Я ничего не называла, — сказала женщина с достоинством человека, который перед этим дважды в год подписывал ремонт, которого не было. — Я отвечала на вопрос про Лебедя.

Дверь закрылась. Я пошла пешком к остановке, размышляя о том, что в этом районе есть люди, которые подписывают дважды в год, и что живёт среди них мальчик, который по вторникам говорит их словами.

А вечером, возвращаясь, я увидела Стёпу. Он стоял у забора бабушки и смотрел на наш сад. Увидев меня, не испугался — просто сказал, в лоб:

— У вас сирень проснулась. Она вам сегодня ночью что-то скажет, я слышал. Она вас любит. Она говорит про вас

«столичная внучка доросла», а потом добавляет: «жаль, что не доросла до конца». А потом говорит то, что я вам и передаю: у Лебедя в гараже, на Сосновской, стоит насос с красной биркой. И у него в актах этой зимы — два. А в гараже — один.

И пошёл домой, к деду, со свитером задом наперёд и лицом человека, который сказал, что думал, — хотя думал он не своё.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой я нашла гараж, насос и арифметику, по которой единица всегда лишняя

Гараж на Сосновской я нашла на следующий день — без запросов и с ломиком. Без запросов потому, что запрашивать гараж на закрытую ветку — это как звонить в дверь и представляться той, кто спрашивает про дверь. А с ломиком — потому что замок был висячий и чужой, и на нём была первая в этой книге честная деталь: замок был заперт. Не «вешается, когда уходят», а заперт — с охраной от всех, включая Лебедя. В гараже прятали не от меня. В нём прятали от Лебедя.

Внутри было сухо, пол устлан старой газетой, у стены — верстак, над ним три ключа на гвозде, а в углу, накрытый брезентом, — насос. Новенький, пыльный. На корпусе — красная бирка с номером. Номер был выцарапан вручную, шилом, неровно, но разборчиво:

«№ 2».

Я стояла перед этим номером секунд двадцать. Не потому что не понимала — потому что понимала слишком много разом. Насос с номером «2» — это значит, где-то есть насос «1». И тот, кто писал на бирках, знал: их будет несколько. Бирку выцарапывали не на складе — её выцарапывал чело-

век, который распределял оборудование по точкам и не хотел, чтобы бирки совпали. По бухгалтерии такие вещи совпадать не должны: единица — это только одна на объект. Две единицы на один объект — это уже не учёт. Это уже вопрос.

Улик было три, и все три — на бирке. Первая: номер «2» — значит, есть «1», и «1» уже куда-то ушла или стоит где-то, о чём в актах не сказано. Вторая: шило — значит, бирку делали не в цеху, а на коленке, скорее всего, в гараже, и делал её тот, кто не хотел, чтобы номер пробивали в присутствии свидетелей. Третья: пыль на насосе ровная, слоем в один палец — значит, насос стоял здесь с осени. Всю зиму. Акты Лебедя говорили о двух насосах этой зимой; в гараже стоял один.

Арифметика сходилась в минус. И минус этот, как я уже знала по первой книге, — самая громкая цифра в любом учёте.

Из гаража я вышла, ничего не тронув, — замок повесила на место. Насос описывать в протокол пока не было оснований: насос — это ещё не преступление, насос — это имущество. Вещдоком он станет тогда, когда я найду его близнеца. Или когда найду того, кто его выцарапал.

Вечером, за щами, я рассказала бабушке про номер «2».

Бабушка слушала, помешивая, а потом отставила ложку — жест, которым в нашей семье подчёркивали, что дальше будет не кулинария.

— Дочка. Ты сейчас открыла дверь в комнату, которую я

тебе обходила сорок лет. Садись. Про «две единицы» я скажу сразу, а потом объясню, почему молчала.

Она села напротив, и я увидела, что она впервые за неделю выглядит уставшей. Не от щей — от того, что подошёл срок рассказывать.

— В любом хозяйстве, дочка, — государственном, кооперативном или садовом, — есть два списка. Один — то, что есть. Второй — то, что записано, что есть. В идеале эти списки совпадают. В живом хозяйстве они совпадают всегда, потому что список ведёт тот же человек, что и таскает. А в хозяйстве казённом, где списки ведут разные люди, списки начинают жить отдельно. И вот тогда появляется то, о чём я скажу. Две единицы на один объект — это не ошибка. Это всегда след одного из трёх. Первое: единицу переписали — одну и ту же вещь записали дважды, чтобы списать деньги за две. Второе: единицу спрятали — купили два, записали один, второй ушёл по-тихому, и он-то и есть цена всей схемы. Третье, — бабушка подняла палец, — самое интересное: единицу оставили. Купили один, а записали два — и второй существует только на бумаге. Он никому не нужен, он вечный, он числится в актах и работает на бумаге, как Стёпа: его никто не видит, а он всё повторяет.

— Баб. Ты сейчас о чём?

— О насосах, дочка. И обо всём остальном. Я тебе говорю не про мужа Лебедя. Я говорю тебе: в Сосново всё, что ты найдёшь по этой ветке, будет существовать в двух экземпля-

рах — на бумаге и по-настоящему. И иногда эти два экземпляра будут совпадать, а иногда — нет. И чаще всего не будут совпадать ровно там, где совпадать выгодно. Твоя работа — не искать разницу. Твоя работа — искать того, кто эту разницу создаёт. Разница — это подпись. А подпись, дочка, ты уже знаешь: она ровная.

Я записала. А потом спросила то, что крутилось:

— Баб, а почему ты сорок лет об этом молчала?

— Потому что я сорок лет слушала кусты. А кусты, дочка, про деньги не говорят. Кусты говорят про воду, тлю и тень. Про деньги говорят только люди. И люди в этом месте никогда не говорят правду — они говорят «вы сами всё поймёте». А я тебе, дочка, не «вы сами». Я бабушка, и я тебе говорю: дуй к Лебедю. Только не с обыском. С заявлением от бабушки. Бабушкам в этом районе верят больше, чем прокурорам, потому что бабушки не подписывают.

Заявление бабушки было коротким и гениальным: «У меня во дворе протекает труба, приходите, посмотрите, вы же по коммуникациям». Лебедь приехал сам, с папкой, с вошедшим в это слово «по коммуникациям» достоинством директора, у которого всё по документам, кроме документов.

— Лидия Петровна, — сказал он, осматривая трубу, которая не протекала. — Здесь ничего не течёт.

— Это в том-то и дело, Аркадий Семёнович, — сказала бабушка. — У меня ничего не течёт, а у Марьи из-за реки течёт третий год. И у школы течёт. И у Дома культуры — вот

там вообще штормит. Это вы у меня посмотрите: не течёт, а должно. А у других — течёт, а не должно. Где в этой арифметике ваши акты?

Лебедь посмотрел на трубу ещё раз. Я заметила, как он посмотрел не на трубу — на меня. Взгляд был короткий, оценочный: «зачем бабушка привела следователя к не текущей трубе». И потом он сказал — ровно, без пауз, с интонацией человека, у которого всё сходится:

— У нас в районе, Лидия Петровна, всё в порядке. Есть участки, где вода идёт по графику, а есть участки, где идёт по состоянию. Это не учётные понятия. Это погодные.

— Погодные, — сказала бабушка. — Я сорок лет живу, а про «погодные участки» слыхала впервые. У вас, значит, вода идёт по погоде, а акты идут по году. Ну, дай бог, чтобы и дальше так сходилось.

Лебедь ушёл. А я записала в реестр: «Лебедь разговаривает не о том, о чём его спрашивают, — и это не глупость, а приём: разговор о погоде занимает время, и время — единственное, что он защищает».

На следующий день, в четверг, я нашла насос «1».

Он стоял не там, где я искала. Он стоял у Штакетникова, в кабинете, под столом, накрытый пледом. Я приехала к нему по повестке — повестка была на плановый приём по благоустройству, я пришла как следователь районного отдела, а не как Настя. Штакетников меня принял, как принимал всё: с подписью.

— Я вас слушаю, — сказал он, поправляя очки.

— У вас в кабинете под столом насос, — сказала я.

— Да, — сказал он ровно. — Насос. Он мой личный. Купил в прошлом году для дачи.

— У вас на насосе есть красная бирка?

— Не знаю. Наверное. Я не смотрел.

— Посмотрите.

Штакетников нагнулся и посмотрел. Бирка была. Номер — «1». Он посмотрел на номер долго — секунды три, дольше, чем обычно смотрят на свою дачную вещь, — и потом сказал:

— Это не мой номер. Я этот номер не ставил. Кто-то поставил на мой насос чужую бирку.

— А кто, по-вашему?

— А это уже не ко мне. У вас же следствие. У вас всегда есть кто-то, кто ставит. Вы спрашивайте у того, кто ставит. Я не подписывал, я не ставил. Я вообще, знаете, в бухгалтерии ничего не понимаю, я человек производства. Моё — это трубопровод. Трубопровод — это главный. Бирки — это уже мелочь.

Я записала в реестр: «Штакетников отказывается от бирки. Скорее всего — не отказывается, а отписывается. Есть разница: „отказ“ — это когда человек говорит „не мой“, „отписка“ — это когда человек говорит „не моя зона“. Лебедь — „не моя зона“. Штакетников — „не моя зона“. Бирка, стало быть, не принадлежит никому, а принадлежит ветке».

Улика: два насоса на двух точках, бирки «1» и «2» — выцарапаны шилом, один насос «по бумаге» числится у Штакетникова как личный, второй не числится нигде. Что это даёт: оборудование существует в двух экземплярах — как бабушкино правило. Один — для работы по-настоящему. Второй — для отчёта. Важность: где бирки выцарапаны, там работает человек, который не хочет, чтобы его руки совпали с руками ведомости. Проверка: сравнить манеру на бирках и манеру на чужих приписках — узнаем одного и того же исполнителя. Вывод: по ветке работает мастер, который делает оборудование дважды: по факту и по актам. Действие: найти мастера. Проверить по спецодежде, инструментам и по той самой «подотчётной», о которой говорил Стёпа.

Мастера я нашла в тот же вечер, у котельной — не по спискам, а по колее: у котельной, за ямой, на старом снегу ещё лежала свежая накатка, тонкая, ширина — как у самоката, только глубже. По колее кто-то ходил на работу со своим. Я пошла по колее, и она привела меня к крыжовнику Кеше, за которым сидел на ящике человек с лицом, на котором было выцарапано то же самое, что на бирке: кто-то жил, а номер — не его.

— Мастер? — спросила я.

— Мастер, — сказал он, не поворачиваясь. — А вы кто?

— Следователь.

— По какому делу?

— Пока по какому-нибудь.

— По какому-нибудь — это плохо, — сказал мастер, поворачиваясь. — По какому-нибудь, значит, вы ещё не знаете, что ищете. А я вам, коли вы такая, скажу: я мастер, я тридцать лет на трубах, у меня руки в мозолях, у меня инструментов на четырнадцать ящиков, и ни одного ящика я не воровал. А то, что у вас в конторе пишут, что у нас всё хорошо, — это ваши конторские дела. Я живу по-настоящему. А вы живите по-бумажному. Только не мешайте мне жить по-настоящему, а то я вам устрою жизнь по-трубному.

— По-трубному?

— По-трубному, — сказал мастер спокойно. — У меня трубные дела. Я вам, если хотите, скажу одно. Не всё, что стоит, работает. И не всё, что работает, стоит. А главное — не всё, что работает и стоит, включено в счёт. Поняли?

— Поняла.

— И я, значит, понял, — сказал мастер и встал с ящика. — Я — мастер. Мне бирки ставить не влом. Я их шилом. А кто позвал — тот и сказал: «Ставь». Вот и всё. Зови того, кто сказал.

— А кто сказал?

— А это, — сказал мастер и посмотрел на меня взглядом, в котором я прочитала одновременно уважение, усталость и одну фразу, которую он потом повторил трижды, — вы, следователь, не у меня спросите. Я — исполнитель. Мне сказали — я сделал. А сказали мне сверху. Сверху, капитан, сверху всегда. В этом районе всё идёт сверху. Вниз идёт только вода.

И он пошёл в сторону котельной, а я осталась стоять у ящика, на котором только что сидел мастер, и поняла две вещи. Первая: у нас в деле появился человек, который знает и не может — тот самый, о котором ты говорила: «все знают и не могут». Вторая: он не назвал того, кто «сказал», но он дважды сказал «сверху», и в этом слове было столько разной готовности к сотрудничеству, что я записала его в реестр как главного источника по ветке.

И вот тогда мне позвонила Марго.

— Настя, — сказала она голосом, который я слышала дважды за нашу дружбу. — У меня к тебе две новости, и обе плохие, потому что хорошие я тебе вчера уже сообщила.

— Слушаю.

— Первая. Мне сегодня позвонили из поликлиники. Моего Стёпу — того самого, которого я сняла с учёта, потому что он здоров, — вернули мне обратно в учёт. Вернули с формулировкой «нуждается в наблюдении». Понимаешь? Его сняли с учёта, чтобы убрать из поля зрения врача. А теперь вернули в учёт, чтобы врач его наблюдал. Один и тот же ребёнок. Одна и та же система. Только в первом случае системой двигало желание спрятать. Во втором — желание показать, что система всё видит.

— А вторая?

— А вторая, — сказала Марго и выпила, хотя была без рецепта, — вторая это то, что мама Стёпы сегодня мне рассказала: в тот вторник, пока ты сидела у липы, к Стёпе до-

мой приходил человек. Не Веня — другой. Спрашивал про рыбалку, Настя. Пять минут, человеческим голосом.

Я открыла реестр и сверила даты. В тот вторник я просидела у липы до темноты — к липе человек не подходил. Значит, он пришёл к Стёпе раньше, домой, туда, где я не стояла.

— Петрович планировал проверку на следующую неделю, — сказала я медленно. — А они проверили без него. И раньше. И не там, где я стояла.

— Проверка. Они сделали проверку, Настя. Они проверили канал. И канал прошёл.

Я положила трубку, открыла реестр и сделала запись, которую потом трижды перечитывала, потому что она звучала не как следствие, а как диагноз:

«Свидетель: система. Показания: проверила канал дважды за одну неделю — по своей инициативе, минуя план Петровича. Способ: приход к мальчику с разговором о рыбалке, человеческим голосом, при том что вся работа по ветке во вторник идёт в тишине. Вывод: система защищает канал не от посторонних — система защищает канал от самой себя. Она проверила, слушает ли кто, и, если никто не слушает, работа продолжится. Если слушает — работа уйдёт на другую ветку, и я её потеряю».

И в самом конце, после всех дат и всех таблиц, я добавила то, что не входит ни в один УПК:

«Бабушка права. От людей, которые прячут себя, защищает не реестр. От них защищает громкость».

Улика: два насоса, две бирки, один мастер и один разговор о рыбалке в неправильном месте — дома, где меня не было. Что это даёт: по ветке существует целая распределённая работа, у которой есть и фактура, и отчётность, и свой проверяющий, — и этот проверяющий работает быстрее плана исполнителей. Важность: система уже не просто скрывает канал — она управляет им и торопится. Проверка: кто приходил к Стёпе. По примете «человек, который спрашивал про рыбалку», — этого человека в деревне кто-то знает. Вывод: у схемы появился второй контур — не исполнители, а надзиратели. Действие: дождаться вторника и в трёх шагах от липы — не слушать, а смотреть. И во вторник на Сосновскую прийти не к липе, а к людям.

ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой я смотрела не на липу, а на людей, и в которой сапоги снова пошли в дело

К следующему вторнику я приготовилась как следователь, а не как слушательница. Это была первая в моей практике смена оружия: во всех делах до сих пор я шла к улике, а здесь мне предстояло идти к людям — и стоять так, чтобы люди думали, будто я стою у дерева.

План был бабушкин. Она его выдала в субботу, за щами, с такой деловитостью, будто раздавала сорок девятую мысль из запаса:

— Дочка, во вторник ты встанешь у палисадника Веры Степановны. Это дом напротив, у него палисадник, сирень и скамейка. Со скамейки видно и липу, и выезд, и автобусную остановку. Ты будешь сидеть со спицами.

— Баб, я не вяжу.

— Будешь вязать. Я дам тебе носок и спицы. Главное — руки. Руки, которые заняты, никого не интересуют. Человек со спицами — это мебель. А мебель слушает всё.

— А если меня узнают?

— Узнают и подойдут спросят, чей носок. Скажешь: ба-

бушкин, вяжу бабушке, не получается пятка. Это, дочка, универсальный пропуск: у носка без пятки не бывает подозрительных. Пятка — она как подпись: поставишь — и уже отвечаешь.

Носок она мне дала действительно без пятки, вязаный наполовину, с подозрительно ровными петлями — я потом поняла, что бабушка связала заготовку сама, вечером, специально, чтобы у меня не было шанса спалиться пяткой.

Во вторник я сидела на скамейке Веры Степановны с десяти утра. Вязала. Пятку не вязала принципиально. Сирень над палисадником комментировала происходящее шёпотом — кусты у нас после признания Насти не стеснялись:

— Опять эти с пилой поедут. Каждый вторник одно и то же. Поехали, попилили, уехали, бумагу подписали. Скучные. Я в их возрасте уже цвела, а они всё с пилами.

— Молчи, — прошептала я в цветок. — Работаю.

— Работай, работай, — сирень вздохнула. — Все работают, никто не слушает. Ладно, сиди. Если что — я подмигну веткой. Справа — свои, слева — чужие. Только не спрашивай, что значит «свои»: у меня своей родни нет, я условностями не пользуюсь.

В без двадцати три через выезд прошла та самая бортовая машина — «Сосновское лесничество», Веня за рулём, Петрович рядом с портфелем. У липы всё пошло по накатанному: листок, пила, тридцать минут гула.

А в половине четвёртого по Сосновской шёл пешеход. И

тут я его узнала — по сапогам.

Сапоги были новые, высокие, чёрные, с белой окантовкой по канту и литой подошвой. Я такие видела дважды в жизни. Первый раз — на складе, в первой книге моего реестра: десять пар одинаковых сапог сорок шестого размера, госзакупка, «спецобувь для рабочих». Второй раз — на прошлой неделе, в сельсовете: на ногах у человека, который сидел в приёмной МУПа и что-то объяснял бухгалтерии, а бухгалтерия кивала с той особой скоростью, с какой кивают, когда не собираются запоминать.

Человек подошёл к липе. Постоял. Посмотрел на Веню и Петровича — они его, судя по лицам, знали: кивнули, но не подошли. Потом он подошёл к Стёпе.

Стёпа сидел на своих корнях. Человек встал напротив — я видела сцену целиком, метров сорок было, со спицами в руках я была мебелью, а мебель видит всё, — и заговорил. Губы двигались. Через сорок метров губ не слышно, но я и не нужна была: я видела, КАК он говорил. Он говорил, наклонившись, с улыбкой, показывая руками что-то большое — рыбу, что ли, — а Стёпа смотрел на него снизу вверх и кивал.

Пять минут. Человеческим голосом. Про рыбалку.

Вторая проверка. Первую они сделали неделю назад, дома, где меня не стояло. Вторую — здесь, при мне, потому что я им не мешала: я сидела со спицами, и с их точки зрения я была мебелью.

Потом человек выпрямился, достал из кармана телефон, что-то набрал — коротко, двумя пальцами, — убрал телефон, ещё раз кивнул Вене через дорогу и пошёл обратно, в сторону районного центра. Пешком. По обочине мимо травы, которая лежала пластом и слушала, как положено по вторникам.

А я сидела и думала о сапогах.

Дело в том, что сапоги были не рабочие. На них не было ни грязи бетоновоза, ни следов известки, ни потёртостей от лопат — ничего, чем обязаны быть сапоги человека, который в них ходит по стройкам и котлованам. Это были сапоги, которые купили — и носили. Ровные, новые, начищенные сапоги из партии «спецобувь для рабочих», на ногах человека, который не был рабочим, спрашивал про рыбалку у канала и набирал кого-то двумя пальцами.

В этом районе, подумала я, сапоги — самая говорящая обувь в стране. Здесь по ним можно вести следствие целиком: сапоги сорок шестого — «госзакупка, для рабочих»; сапоги на складе — «десять пар, а работали в них двое»; сапоги на человеке у липы — «куплены, не изношены, значит, вещь престижа, а не инструмента». А люди, которые носят рабочую обувь как престиж, — это, как правило, люди, которые в этой обуви никогда не работают. Им важно, чтобы на них было написано «для рабочих». Не важно, работают ли они.

Я записала в реестр — да, прямо на скамейке, под носком, бабушка бы оценила скрытность:

«Сапоги: новые, спецпартия, без следов работы. Носитель: не рабочий. Функция носителя: разговоры о рыбалке. Оценка: проверяющий, уже второй заход. Вывод по реестру первой книги: сапоги в этом районе — не обувь, а удостоверение. Ношение спецобуви без работы — это форма присяги. Присяги кому — выяснить».

Сирень тем временем подмигивала веткой — справа. «Свои», значит, Веня и Петрович. Я не спрашивала, что значит «свои». Я смотрела на слева.

А слева, с той стороны дороги, где трава лежала пластом, у столба стоял ещё один человек. Он появился незаметно — во время рыбалки, или раньше, — и стоял так, как стоят люди, которые пришли не смотреть, а быть посчитанными. Он не подходил к липе. Он не смотрел на Стёпу. Он смотрел на машину — на бортовую, с наклейкой «Сосновское лесничество», — и смотрел на неё так, как смотрят на вещь, за которую отчитываются.

Когда пила умолкла и Веня с Петровичем полезли в кабину, человек у столба достал блокнот. Маленький, в клеточку, из тех, что раздают на совещаниях. Записал. Закрыл. И ушёл — тоже пешком, в ту же сторону, что и сапоги, только не по обочине, а по двору, за домами, где колея не видна.

Я не пошла за ним. Тело хотело, ноги уже были в стартовой позе, а голова сказала: «Стоять. Ты — мебель. Мебель не бегает. Мебель доезжает до дома и звонит подруге, у которой коньяк по рецепту».

Дозвонилась я Марго к вечеру. Она была в Столбове уже второй день — завела койку у соседки, «пациентка с бессонницей, наблюдение стационарное», наблюдение шло под коньяк.

— Марго, — сказала я. — Мне нужен человек из поликлиники. Не Стёпа. Взрослый. Который в новых сапогах спрашивал про рыбалку.

— Сапоги описывай.

Я описала. Марго помолчала секунд пять — я слышала, как она мысленно листает что-то, наверное, свой внутренний список пациентов, у которых сапоги лучше диагнозов.

— Есть такие, — сказала она наконец. — Не пациент. Родственник пациента. Брат одной моей многодетной мамы. Работает в районной администрации, курирует что-то «жилищное». Я его видела дважды — оба раза в новых сапогах. Специально запомнила: у моих пациентов подошвы стираются, а у него подошвы блестят. Он, между нами, ещё и в носках разных ходит — я в этом убедилась, когда он уснул на приёме. Левый — в полоску, правый — в клетку. У человека с двумя носками и блестящими сапогами, Настя, всегда есть тётка, которая его одевает, и работа, о которой он не может рассказать. Потому что если расскажет — выяснится, что рассказывать нечего.

— Фамилия?

— Кучеров. Виталий. Младший. Старший Кучеров, отец, был нормальный человек, завхоз в школе, тридцать лет. А

младший, по рассказам мамы, — «устроился». Как это у нас говорят: не работает — устроился.

«Устроился». Я записала и подумала, что это слово — одно из самых честных в русском языке. «Устроиться» — значит найти себе место в системе, где не надо делать, а надо присутствовать. Кучеров-младший присутствовал у липы по вторникам. С блокнотом. Двумя пальцами по телефону. В новых сапогах.

Улика: Кучеров-младший у липы с блокнотом, сапоги новые, без следов работы, телефон двумя пальцами. Что это даёт: за пилой во вторник следит не исполнитель и не заказчик, а фиксатор — человек, чья функция состоит в том, чтобы «посчитать». Важность: в схеме, где всё сходится, фиксатор — это тот, кто делает «сходимость» осязаемой. Он не пишет акты, он присутствует. Его присутствие и есть акт. Проверка: блокнот Кучерова — куда он девает записи. Блокноты из совещаний не горят — их сдают в стол. Вывод: у схемы есть третий контур — надзора. Первый контур — исполнители, Веня и мастер. Второй — подписанты, Лебедь и Штакетников. Третий — наблюдатели, Кучеров. И значит, где-то есть четвёртый — тот, кто читает блокноты. Действие: выяснить, кто читает блокнот Кучерова. И узнать, что за «старая нитка» — потому что если нитку трогают, значит, по ней что-то идёт, и это что-то не сходится даже в отчётах.

Бабушка, когда я вечером пересказала ей про блокнот и про «четвёртый контур», долго молчала. Потом сказала:

— Дочка. Про блокнот я скажу тебе одну вещь, и ты её запиши в реестр красным. Блокнот из совещаний — это не документ. Это ритуал. Человек с блокнотом не записывает — он показывает, что записывает. Ему неважно, что в блокноте. Ему важно, что он стоит у столба и пишет. Это как твоя сирень подмигивает веткой: все видят, что сигнал подаётся, но никто не знает, кому. У блокнотных людей, дочка, есть только одно правило: их запись должна дойти до того, кто читает. А читает блокноты, — бабушка подняла на меня глаза, — тот, кто нумерует с четырнадцати.

У меня по спине прошло холодом. «Нумерация объектов начинается с четырнадцати» — из первой книги, из акта склада № 14, из стратегии, которую мы оставили как тайну серии. И вот теперь бабушка, не читавшая мои реестры — она их не читает, я ей пересказываю вслух, а пересказывать номер четырнадцать я ей не пересказывала, — сказала это сама.

— Баб. Откуда ты знаешь про четырнадцать?

— А я и не знаю, — сказала она спокойно. — Я знаю другое: в любом хозяйстве, где списки живут отдельно от вещей, нумерация начинается не с единицы. С единицы начинают те, кто хочет, чтобы всё было понятно. А с середины начинают те, кто хочет, чтобы непонятно было всем, кроме одного. И этот один, дочка, обычно и есть читатель всех блокнотов. Я его не знаю. Но он есть. Он всегда есть — и он всегда один. Потому что если бы их было двое, они бы спорили, и спор

было бы слышно.

— А если спор не слышно?

— Значит, — сказала бабушка и встала убирать со стола, — спор ведётся в тишине. А тишина, дочка, в нашем районе — это не отсутствие разговора. Это разговор, который идёт под землёй. По старой нитке.

Я не спала эту ночь. Не потому что боялась — потому что складывала. И к утру у меня сложилась схема, которую я потом записала в реестр как «карту второго дня»:

«Ветка 12-4. Нитка старая. Насосов — два, а в актах — тоже два, и это первое совпадение за всю схему. Совпадение — это не порядок, это ширма: там, где всё сходится, сходится специально. Дальше: пила во вторник. Липа под пилой. Зачем? Не ради дерева. Ради колеи — нет, ради звука. Пила во вторник — это шум, который накрывает что-то другое. Что-то, что делают в тишине, пока вся округа слушает пилу. Тишина, дочка, — не отсутствие разговора. Тишина — это работа, которую ведут под звуком пилы».

Улика: пила во вторник работает тридцать минут — и в эти тридцать минут вся обочина лежит пластом, все смотрят на липу, а двор за домами пуст. Что это даёт: во вторник в Сосново есть тридцать минут, когда можно работать, не будучи услышанным, — потому что все услышаны пилой. Важность: пила — это не работа по дереву. Пила — это шумовая завеса. Проверка: что делали во вторник за домами — по колее, по следам, по трубам. Вывод: липу пилят не ради

липы. Липу пилят ради тишины вокруг неё. Действие: в следующий вторник не смотреть на липу. Смотреть за дома. И взять с собой блокнот с датами, потому что бабушка права: от «скучных» защищает только датированный протокол.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой пила была не главной, я выяснила, для чего её завели, и познакомилась со старой ниткой лично

К следующему вторнику у меня было всё, кроме разрешения бабушки.

— Дочка, а можно я скажу тебе, почему ты всё сделаешь неправильно? — спросила она в субботу, за щами.

— Слушаю.

— Потому что ты пойдёшь за дома одна. А это неправильно, потому что за домами во вторник работает не человек, а порядок. Порядок, дочка, — это когда двое роют, один смотрит, а один привозит и увозит. Ты их не боишься — и зря. Бояться надо не людей, а арифметики: людей четверо, а ты одна. Одна против четверых — это не следствие, это уже протокол с одним свидетелем, и свидетель этот — ты. И протокол этот, если что, будут читать не в твоей формулировке.

— А как правильно?

— А правильно — взять то, чего у них нет, — сказала бабушка и пододвинула мне вторую тарелку. — У них есть лопаты и график. А у тебя есть я. Я во вторник не могу слушать профессора — у меня в этот день генеральная уборка,

это святое. Но я могу сидеть на скамейке у Веры Степановны и вязать. Ты — за дома. Я — на виду. Если у тебя там что-то пойдёт криво, ты выходишь на край двора и машешь платком. Я вижу платок — и у меня, дочка, для этого случая есть соседка, у которой сосед, а у соседа «Жигули», и он не спрашивает зачем. Ему сорок лет, и он всю жизнь ждал, чтобы его попросили. Такие люди — золотой фонд деревни: им не надо платить, им надо, чтобы попросили.

Итак, расклад второго вторника: я — за домами, бабушка — на скамейке с носком, платок — на запястье. Марго осталась в Столбове под предлогом «наблюдения за пациенткой», а на самом деле — наблюдать за поликлиникой: ей предстояло выяснить, кто вернул Стёпу в учёт, по чьему представлению и с какой подписью.

Без десяти три я встала в начале проулка за домами нечётной стороны Сосновской. Проулок был пуст, колеи не было, но трава в нём говорила — трава не участвовала во вторничной тишине, потому что вторничный режим распространялся, как я выяснила, только на обочину: на обочине слушали пилу, а в проулке трава жила по своим правилам.

— Трава, тут ходят?

— Ходят, — сказала трава сразу, без «не скажу». — Но не все. Тут ходит один, и он не ходит, а носит. Носит тяжёлое, дочка, — трава вздохнула. — Носит и причитает. Я его слышу каждый вторник, он у нас единственный разговорный. Остальные идут как казённые: молча, по графику. А этот —

разговаривает сам с собой. По-стариковски.

— Что причитает?

— А то и причитает: «Куда ты, тёть Маша, без меня», и «не в ту сторону, не в ту», и ещё одно говорит, я его не поняла, у него со словами мудрёно: «нумеровать с середины».

У меня внутри всё выстроилось. Нумеровать с середины — это говорил не абстрактный «тот, кто вообще не говорит». Это говорил носильщик в проулке. Каждый вторник. Сам с собой.

— Трава, а он когда приходит?

— С пилой, дочка. С пилой приходит. Все приходят с пилой — а он с пилой. Хитро: пока пила работает, он таскает. И таскает ровно тридцать минут, потому что больше пила не работает. Как будто и он по нормативу.

Я отошла в конец проулка и встала за старым сараем — оттуда было видно дорогу и всё, что по ней едет. В три ноль две прошла бортовая машина. В три ноль пять пила взвыла. И в три ноль шесть из проулка, из глубины, за домами, выехал — тихо, на первой, почти без мотора — старый армейский вездеход. Брезентовый кунг, грязь на колёсах сухая, значит, ехал давно и медленно, а теперь выходил на маршрут. Вездеход прошёл проулок до конца, выкатился к последнему дому и встал — у глухого забора пустого участка, единственного на всей Сосновской, который не имел ни жилого дома, ни калитки, ни собаки. Только забор, ворота и табличка.

Табличку я прочла с сорока метров, у меня с этой дистан-

цией всё в порядке: «Гаражный кооператив „Восход“. Бокс № 17».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.